

# Говард Филлипс Лавкрафт

## Заброшенный дом

(The Shunned House)

### 1

Даже самым леденящим ужасам нередко сопутствует ирония. Порою она составляет их неотъемлемую часть, порою связана с ними опосредованно, через тех или иных лиц или места. Прекрасным образцом иронии последнего рода может служить случай в старинном городе Провиденсе в конце сороковых, когда там частенько гостил Эдгар Аллан По в пору своего безуспешного сватовства к даровитой поэтессе Хелен Уитмен. Обычно По останавливался в «Мэншн-хаус» на Бенефит-стрит — той самой гостинице, что некогда носила название «Золотой шар» и в разное время привечала таких знаменитостей, как Вашингтон, Джефферсон и Лафайет. Излюбленный маршрут прогулок поэта пролегал вверх по названной улице к дому миссис Уитмен и расположенному на соседнем холме погосту церкви Святого Иоанна с его многочисленными надгробиями восемнадцатого века, скрытыми под сенью древ и имевшими для По особое очарование. Ирония же состоит в следующем. Во время этих прогулок, повторявшихся изо дня в день, величайший мастер ужаса и гротеска всякий раз проходил мимо одного дома на восточной стороне улицы — обветшалого старомодного строения, торчавшего на склоне холма, с большим запущенным двором, существовавшим еще с тех времен, когда окружающая местность фактически находилась за чертой города. Нет указаний на то, что По когда-либо писал или говорил об этом доме, как нет и оснований утверждать, что он вообще обращал на него внимание. Тем не менее, именно этот дом, в глазах двух людей, обладающих некоторой информацией, по ужасам своим не только равен, но даже превосходит самые безумные из вымыслов гения, столь часто проходившего мимо него в неведении, и поныне взирает на мир тусклым взглядом своих оконниц, как пугающий символ всего неопишимо чудовищного и ужасного.

Строение это было и, пожалуй, остается объектом такого рода, которые всегда привлекают внимание любопытных. Изначально имевшее вид обычного фермерского дома, впоследствии оно приобрело ряд черт, типичных для новоанглийской колониальной архитектуры середины восемнадцатого столетия, и превратилось в помпезный двухэтажный особняк с остроконечной крышей и глухой мансардой, георгианским парадным входом и внутренней панельной обшивкой в тогдашнем вкусе. Дом стоял на западном склоне холма и был обращен фасадом на юг; нижние окна с правой его стороны находились почти вровень с землей, зато левая половина дома, граничившая с улицей, была открыта до самого основания. Конструкция дома, чей фундамент был заложен более полутора веков назад, изменялась по мере улучшения и выпрямления дороги, пролежавшей рядом с ним. Речь идет все о той же Бенефит-стрит, которая прежде называлась Бэк-стрит и представляла собой узкую улочку, петлявшую между могилами первых поселенцев. Выпрямить ее удалось лишь после того, как с перезахоронением тел на Северном кладбище отпало единственное моральное препятствие к тому, чтобы проложить путь прямо через старые фамильные деланки.

Первоначально западная стена дома возвышалась на расстоянии около шести метров от дороги, однако в результате расширения последней, осуществленного незадолго до Революции, интервал существенно сократился, а подвальный этаж обнажился настолько, что пришлось соорудить кирпичную стену с двумя окнами и дверью, оградившую его от нового маршрута для публичного передвижения. Когда сто лет тому назад был проложен тротуар, промежуток между домом и улицей исчез окончательно, и во время своих променадов По мог видеть лишь серую кирпичную стену высотой в три метра, вплотную примыкавшую к тротуару, да свес крытой дранкой крыши.

Обширный земельный участок простирался от дома вверх по склону холма почти до Уитон-стрит. Пространство между фасадом дома и Бенефит-стрит располагалось значительно выше уровня тротуара, образуя своего рода террасу, опирающуюся на высокий каменный вал, сырой и замшелый. Узкие и крутые ступени, выдолбленные в камне, вели вверх, в мир запущенных лужаек, неухоженных огородов и осыпающихся кирпичных кладок, где в беспорядке валялись разбитые цементные урны, ржавые котлы, узловатые треноги, некогда служившие им опорой, и тому подобные предметы, образуя живописный фон для выдавшей виды парадной двери с зияющим над ней веерообразным оконным проемом, прогнившими ионическими пилястрами и изъеденным червями треугольным фронтоном.

Все, что я слышал о заброшенном доме в детстве, сводилось к необыкновенно большому количеству людей, которые в нем умерли. Именно это обстоятельство якобы и заставило первых владельцев покинуть дом лет через двадцать после того, как он был построен. Причиной смертей, скорее всего, была нездоровая атмосфера, обусловленная сыростью и погаными наростами в подвале, всепроникающим тошнотворным запахом, сквозняками или, наконец, недоброкачественной водой. Любого из перечисленных факторов было бы вполне достаточно, а дальше таких предположений никто из моих знакомых не шел. И только записные книжки моего дядюшки, неутомимого собирателя древностей доктора Илайхью Уиппла, поведали мне о более мрачных подозрениях, ходивших среди старой прислуги и простого люда; подозрениях, никогда не покидавших пределы узкого круга посвященных и по большей части забытых к тому времени, когда Провиденс вырос в крупный современный город с быстро меняющимся составом населения.

Здравомыслящие горожане никогда не ассоциировали этот дом с нечистой силой. Об этом свидетельствует полное отсутствие рассказов о лязгающих цепях, ледяных сквозняках, блуждающих огоньках и чужих лицах за окнами. Иные максималисты называли дом «дурным местом», но не более того. Что действительно не вызывало сомнений, так это неслыханное количество людей, которые в нем умирали — точнее, умерли, ибо после известных событий шестидесятилетней с лишним давности он остался без жильцов ввиду полной невозможности быть сданным внаем. В этом доме редко кто умирал скоропостижно и по какой-то конкретной причине. Общим для многих смертей было то, что у человека незаметно иссякала жизненная сила, и каждый умирал от того недуга, который в нем уже сидел, но только в гораздо более короткие сроки. А у тех, кто оставался в живых, в различной степени проявлялось малокровие или чахотка, а иногда и снижение умственных способностей, что явно говорило не в пользу целебных качеств помещения. К слову сказать, соседние дома вообще не обладали подобными пагубными свойствами.

Вот все, что было мне известно на тот момент, когда уставший от моих настойчивых расспросов дядюшка показал мне записи, которые в конечном счете подвигли нас обоих начать расследование. В пору моего детства в страшном доме никто не жил; в расположенном на террасе дворе, где никогда не зимовали птицы, росли одни бесплодные, безобразно искривленные, старые деревья, высокая, густая и неестественно блеклая трава да уродливые, как ночной кошмар, сорняки. Детьми мы часто посещали это место, и я до сих пор помню тот своеобразный азартный страх, который я испытывал не только перед нездоровой причудливостью этой зловещей растительности, но и перед странной атмосферой и запахом полуразрушенного здания, куда мы часто проникали через незапертую парадную дверь, чтобы пощекотать себе нервы. Маленькие оконца были по большей части лишены стекол, и невыразимый дух запустения оведал еле державшуюся камышитовую обшивку, ветхие внутренние ставни, отстающие обои, отваливающуюся штукатурку, шаткие лестницы и сломанную мебель. Пыль и паутина вносили свою лепту в общее ощущение ужаса, и подлинным храбрецом считался тот мальчик, который отваживался добровольно подняться по стремянке на чердак, обширное балочное пространство которого получало свет лишь через крошечные угловые оконца и было заполнено сваленными в кучу обломками сундуков, стульев и прялок, за многие годы окутанными паутиной настолько, что они приобрели самые чудовищные и дьявольские очертания.

И все же самым страшным местом в доме был не чердак, а сырой и промозглый подвал, внушавший нам наибольший ужас, хотя он почти вплотную примыкал к людной улице, от которой его отделяла лишь тонкая дверь да кирпичная стена с окошком.

Мы не были уверены, стоило ли заходить в дом, уступая естественной тяге к неизвестному и пугающему, либо же следовало сторониться его, дабы не навредить душе и рассудку. Ибо, с одной стороны, дурной запах, пропитавший весь дом, ощущался здесь в наибольшей степени; с другой стороны, нас пугала та белая грибовидная поросль, что появлялась в иные дождливые летние дни на твердом земляном полу. Эти грибы, гротескно схожие с растениями во дворе, имели поистине жуткие формы, представляя собой отвратительные карикатуры на поганки и «индейские трубки», каких мне не случалось видеть нигде больше. Они быстро разлагались и на определенной стадии начинали слегка фосфоресцировать, так что запоздалые прохожие нередко рассказывали о бесовских огоньках, мерцающих за источающими смрад оконницами.

Даже в разгар самых буйных своих сумасбродств в канун Дня всех святых мы не наведывались в подвал в темное время суток, зато во время дневных посещений не раз наблюдали упомянутое свечение, особенно в пасмурную и сырую погоду. Было еще одно явление, более неуловимое и необычное, казавшееся нам реально существующим, но, скорее всего, существовавшее лишь в нашем воображении. Я имею в виду расплывчатое белесое пятно на грязном полу — как бы налет плесени или селитры, который мы порой смутно различали среди скудной грибовидной поросли перед огромным очагом в подвальной кухне. Иногда нам бросалось в глаза жутковатое сходство этого пятна с очертаниями скрюченной человеческой фигуры, хотя в большинстве случаев такого сходства не наблюдалось, а зачастую никакого белесого налета не было вовсе. Как-то в дождливый полдень, когда сходство было особенно сильным и когда, как мне почудилось, над пятном поднималось какое-то испарение, слабое, желтоватое и

мерцающее, которое улетучивалось в зияющую дыру дымохода, я рассказал об увиденном дяде. В ответ он только улыбнулся, но в улыбке его, казалось, промелькнуло некое воспоминание. Позднее я узнал, что о подобном явлении гласят простонародные поверья, связанные с безобразными, уродливыми формами, которые порой принимает дым, покидая широкий дымоход, и гротескными контурами, которые приобретают извилистые корни деревьев, пробившиеся в подвал сквозь щели меж камнями фундамента.

## 2

Пока я не достиг совершеннолетия, дядя не спешил знакомить меня с собранными им сведениями и материалами, касавшимися страшного дома. Доктор Уиппл был консервативным здравомыслящим врачом старого закала и, несмотря на весь свой интерес к этому загадочному месту, остерегался поощрять юный, неокрепший ум в тяге к сверхъестественному. По его мнению, дом и прилегающий к нему участок всего лишь нуждались в основательной санитарной обработке и не были связаны ни с какими аномальными явлениями, но при этом он прекрасно понимал, что сама живописность и неординарность строения, не оставлявшая равнодушным даже такого закоренелого материалиста, как он, в живом воображении мальчика непременно будет вызывать самые жуткие образные ассоциации.

Дядюшка жил бобылем. Этот седовласый, чисто выбритый, одевавшийся по старой моде джентльмен слыл местным летописцем и неоднократно скрещивал полемическую шпагу с такими любителями дискуссий и охранителями традиций, как Сидни С. Райдер и Томас У. Бикнелл. Он и его единственный слуга жили в георгианском особняке с дверным кольцом и лестницей с железными перилами, стоявшем на крутом подъеме Норт-Корт-стрит, рядом со старинным кирпичным зданием, где некогда располагались суд и колониальная администрация. Именно в этом здании 4 мая 1776 года дедушка моего дяди (между прочим, двоюродный брат того самого капитана Уиппла, чей капер в 1772 году потопил военную шхуну «Гасни» флота ее величества) голосовал за независимость колонии Род-Айленд. В библиотеке — сыром, низком помещении с потемневшей от времени панельной обшивкой, затейливыми резными украшениями над камином и крошечными оконцами, затененными виноградными лозами, — дядю окружали старинные фамильные реликвии и бумаги, содержавшие немало многозначительных аллюзий на заброшенный дом по Бенефит-стрит. Кстати, этот очаг заразы находится совсем рядом, так как Бенефит-стрит, идущая по склону крутого холма, где ранее стояли дома первых поселенцев, проходит прямо над бывшим зданием суда. Когда наконец мои докучливые просьбы и зрелость лет вынудили дядю поведать мне все, что он знал о заброшенном доме, передо мной предстала довольно странная хроника. Все это обилие фактов, дат и скучнейших генеалогических построений пронизывало ощущение некоего гнетущего и неотвязного ужаса и сверхъестественной демонической злобы, что произвело на меня впечатление гораздо более сильное, нежели на моего почтенного дядюшку. События, казалось бы, ничем между собой не связанные, складывались в одно целое самым удивительным и жутким образом; а несущественные на первый взгляд подробности давали повод для самых чудовищных предположений. Меня одолел новый жгучий интерес, в сравнении с которым прежнее детское любопытство казалось мне теперь необоснованным и смешным. Это первое откровение

подвигло меня на тщательное расследование и в конечном счете вынудило решиться на леденящий душу эксперимент, оказавшийся губительным для меня и моего родственника. Ибо дядюшка все-таки настоял на том, чтобы принять участие в начатых мною изысканиях, и дождливая ночь, проведенная нами в том доме, стала для него последней. Как мне не хватает этого милого человека, чья долгая жизнь была образцом честности, добродетели, изысканного вкуса, великодушия и учености! В память о нем я воздвиг мраморную урну на кладбище Святого Иоанна, которое так любил Эдгар По: оно расположено на вершине холма под сенью высоких ив, где могилы и надгробия смиренно теснятся между старинной церковью и зданиями Бенефит-стрит.

История дома, открывавшаяся целым лабиринтом дат, не содержала и намека на какую-либо зловещую тайну ни в связи с его постройкой, ни в связи с воздвигшим его семейством, состоятельным и почтенным. Тем не менее уже с самого начала ощущалась какая-то надвигающаяся угроза, в скором времени принявшая ощутимые масштабы. Летопись, добросовестно составленная дядей из разрозненных фактов, начиная с постройки дома в 1763 году, отличалась удивительным изобилием подробностей. Первыми жильцами дома были некто Уильям Гаррис, его супруга Роби Декстер и дети: Элькана, Абигаиль, Уильям-младший и Рут, появившиеся на свет соответственно в 1755, 1757, 1759 и 1761 годах. Гаррис был преуспевающим купцом и вел морскую торговлю с Вест-Индией через фирму Обедайи Брауна и его племянников. Когда в 1761 году Браун-старший приказал долго жить и компанию возглавил его племянник Николас, Гаррис стал хозяином 120-тонного брига «Пруденс», что дало ему возможность построить собственный дом, о котором он мечтал со дня женитьбы.

Выбранное им место — недавно выпрямленный отрезок новой, фешенебельной Бэк-стрит, проходившей по склону холма над многолюдным Чипсайдом, — не оставляло желать лучшего, а возведенное здание, в свою очередь, делало честь выбранному месту. Это было лучшее, на что мог претендовать человек с умеренными средствами, и Гаррис поспешил въехать в новый дом накануне рождения пятого ребенка. Мальчик появился на свет в декабре, но был мертворожденным. В течение следующих полутора столетий ни один ребенок не родился в этом доме живым.

В апреле следующего года на семью обрушилось новое горе: дети внезапно заболели, и двое из них, Абигаиль и Рут, умерли, не дожив до конца месяца. По заключению доктора Джоуба Айвза, их унесла в могилу какая-то разновидность скарлатины; другие врачи в один голос утверждали, что болезнь скорее напоминала туберкулез или скоротечную чахотку. Как бы то ни было, но она, видимо, оказалась заразной, ибо именно от нее в июне того же года скончалась служанка по имени Ханна Бауэн. Еще один слуга, Илай Лиддисон, постоянно жаловался на дурное самочувствие и уже было собирался вернуться на отцовскую ферму в Рехобот, как вдруг вспылал страстью к Мехитабель Пирс, принятой на место Ханны. Илай умер на следующий год, год воистину скорбный, поскольку он был ознаменован кончиной самого Уильяма Гарриса, здоровье которого не выдержало климата Мартиники, где ему за последние десять лет приходилось часто и подолгу бывать по служебным делам. Молодая вдова так и не оправилась от потрясения, вызванного смертью мужа, а кончина ее старшей дочери Эльканы, последовавшая спустя два года, нанесла окончательный удар по рассудку несчастной женщины. В 1768 году она впала в легкое умопомешательство, и с тех пор ее держали взаперти на верхнем этаже

дома. Забота о хозяйстве и семье пала на плечи ее старшей сестры, незамужней Мерси Декстер, которая переехала к ним. Худая и некрасивая Мерси обладала недюжинной физической силой, однако после переезда здоровье ее стало резко ухудшаться. Она была исключительно предана своей несчастной сестре и питала особую привязанность к своему племяннику Уильяму, единственному из детей, кто остался в живых. Правда, этот некогда румяный крепыш превратился в хилое, рахитичное существо. В том же году умерла служанка Мехитабель, и сразу после ее смерти уволился второй слуга, Смит по прозвищу Береженный, не дав своему поступку сколько-нибудь вразумительного объяснения, если не считать каких-то совершенно диких небылиц и сетований на то, будто ему не нравился запах в доме. Какое-то время Мерси не могла найти новых слуг, поскольку семь смертей и одно умопомешательство за пять лет запустили механизм распространения сплетен, которые в скором времени приобрели самый абсурдный характер. В конце концов ей все же удалось найти двоих из другой местности: это были Энн Уайт, неприветливая особа из той части Норт-Кингстауна, которая позднее приобрела статус отдельного города под названием Эксетер, и расторопный бостонец по имени Зенас Лоу.

Первым человеком, кто придал зловещим пересудам более или менее конкретные очертания, стала Энн Уайт. Мерси следовало бы хорошенько подумать, прежде чем нанимать в прислуги уроженку Нуснек-Хилла, дремучей дыры, что была и остается гнездом самых диких суеверий. Еще в 1892 году жители Эксетера выкопали мертвое тело и подвергли сердце трупа торжественному сожжению, дабы предотвратить пагубные для общественного здоровья и мира влияния, которые якобы не замедлили бы воспоследовать, если бы покойник был оставлен в покое. Можно себе представить настроения тамошней общины в 1768 году! Язык у Энн Уайт был настолько злым и длинным, что через несколько месяцев ее пришлось уволить, а на ее место взять верную и добрую амазонку из Ньюпорта Марию Роббинс.

Между тем несчастная Роби Гаррис окончательно потеряла рассудок и принялась оглашать на весь дом свои сны и видения, носившие самый чудовищный характер. Ее ужасающие вопли могли продолжаться часами, что в конце концов вынудило домашних временно поселить ее сына в доме его двоюродного брата Пелега Гарриса, жившего в Пресвитерианском переулке, по соседству с новым зданием колледжа. Как следствие, мальчик заметно поправился, и если бы Мерси руководствовалась не только благими намерениями, но и здравым смыслом, она бы оставила его у брата насовсем. О том, что именно выкрикивала миссис Гаррис во время своих буйных припадков, семейное предание умалчивает, в лучшем случае приводя настолько экстравагантные примеры, что они опровергают сами себя ввиду их нелепости. Ну разве не абсурдно звучит утверждение, будто женщина, имевшая лишь самые элементарные познания во французском, могла часами выкрикивать просторечные и непристойные выражения на этом языке или будто она же, сидя в одиночестве и под надежным надзором, во всеуслышание жаловалась на то, что якобы ее щипало и кусало некое существо с пристальным взглядом? В 1772 году умер Зенас, и, узнав об этом, миссис Гаррис разразилась пугающе радостным смехом, совершенно ей не свойственным. Она скончалась на следующий год и была похоронена на Северном кладбище рядом с мужем.

В 1775 году, когда началась война с Англией, Уильяму Гаррису-младшему, несмотря на его шестнадцать лет и слабое телосложение, удалось поступить в наблюдательный корпус под командованием генерала Грина, и с этого дня его здоровье и карьера стремительно пошли в гору. В 1780 году, будучи уже капитаном род-айлендских волонтеров на территории Нью-Джерси (ими командовал полковник Энджел), он женился на Фиби Хетфилд из Элизабеттауна, а в следующем году, уйдя в почетную отставку, вернулся в Провиденс вместе с молодой женой.

Нельзя сказать, что возвращение славного воина ничем не было омрачено. Дом, правда, по-прежнему оставался в хорошем состоянии, а улицу расширили и переименовали из Бэк-стрит в Бенефит-стрит, зато Мерси Декстер претерпела печальную и странную метаморфозу: эта некогда крепкая женщина превратилась в сутулую и жалкую старуху с глухим голосом и мертвенно-бледным лицом. На удивление сходное превращение произошло и с единственной оставшейся служанкой Марией. Осенью 1782 года Фиби Гаррис родила мертвую девочку, а 15 мая следующего года Мерси Декстер завершила свой самоотверженный, скромный и добродетельный жизненный путь.

Уильям Гаррис, теперь уже полностью удостоверившись в нездоровой атмосфере своего жилища, принял меры к переезду, предполагая в ближайшем будущем заколотить дом навсегда. Сняв комнаты для себя и жены в недавно открывшейся гостинице «Золотой шар», он занялся возведением нового, более фешенебельного дома на Вестминстер-стрит, в строящемся квартале за Большим мостом. Именно там в 1785 году появился на свет его сын Дьюти, и там семья благополучно жила до тех пор, пока наступление коммерческих заведений, заполонивших округу, не вынудило ее вернуться на противоположный берег реки, в новый жилой район Ист-Сайд и поселиться на Энджел-стрит, пролежавшей по ту сторону холма, где в 1876 году ныне покойный Арчер Гаррис построил себе пышный, но безвкусный особняк с мансардой. Уильям и Фиби скончались в 1797 году во время эпидемии желтой лихорадки, и Дьюти был взят на воспитание своим кузеном Рэтбоуном Гаррисом, сыном Пелега.

Рэтбоун был человеком практичным и сдавал дом на Бенефит-стрит внаем, несмотря на последнюю волю Уильяма, не желавшего, чтобы там кто-то жил. Как опекун, он считал, что мальчик должен получать от своей собственности как можно больше дохода, и его нимало не смущали ни смерти и болезни, вследствие которых жильцы сменяли друг друга с быстротой молнии, ни растущая враждебность к дому со стороны горожан, и когда в 1804 году муниципалитет распорядился, чтобы территория дома была окурена серой и смолой, он едва ли ощутил что-то, кроме легкой досады. Поводом для такого решения городских властей послужили четыре смерти, вызванные, предположительно, уже сходящей в то время на нет эпидемией лихорадки и возбудившие немало досужих толков. Ходил, в частности, слух, что дом источает лихорадочные миазмы.

Что касается Дьюти, то судьба дома почти его не волновала, поскольку, достигнув совершеннолетия, он поступил в военно-морской флот и во время войны 1812 года с отличием служил на капере «Бдительный» под началом капитана Кэхуна. Воротясь целым и невредимым, в 1814 году он женился и вскоре стал отцом. Последнее событие произошло в ту памятную ночь на 23 сентября 1815 года, когда случился сильнейший

шторм и воды залива затопили полгорода; при этом один шлюп увлекло волнами аж до Вестминстер-стрит, и мачты его стучали в окна Гаррисов как бы в символическое подтверждение того, что младенец с говорящим именем Уэлком, то есть «желанный», родился сыном моряка.

Уэлком не пережил своего отца: он пал смертью храбрых в битве при Фредериксбурге в 1862 году. В глазах Уэлкома и его сына Арчера заброшенный дом был не более чем старой развалиной, в которой никто не хотел селиться — вероятно, по причине дряхлости и тошнотворного запаха, непереносимого спутника любой старческой неопрятности. Действительно, дом ни разу не удалось сдать внаем после целого ряда смертей в 1861 году, которые, впрочем, были скоро забыты за всеми тревожными, вызванными начавшейся войной. Кэррингтон Гаррис, последний из рода по мужской линии, видел в заброшенном доме лишь живописный объект преданий, пока я не поведал ему о своем опыте. Прежде он намеревался сровнять особняк с землей и построить на его месте многоквартирный дом, но после беседы со мной решил провести в него водопровод и пустить жильцов. С тех пор никаких проблем с жильцами не было. Кошмар покинул эти стены.

### 3

Нетрудно представить, какое сильное впечатление произвела на меня семейная хроника Гаррисов. На всем протяжении этого пространного отчета мне мерещилось назойливое присутствие какого-то злого начала, противного самой природе этого мира; было также очевидно, что зло это связано с домом, а не с семьей. Впечатление мое подтверждалось множеством разрозненных фактов, с грехом пополам сведенных моим дядей в подобие системы: я имею в виду рассказы слуг, газетные вырезки, копии свидетельств о смерти и тому подобные вещи. Я не собираюсь приводить здесь этот материал в полном объеме — дядюшка был неутомимым собирателем древностей и испытывал живейший интерес к страшному дому; упомяну лишь несколько наиболее важных моментов, заслуживающих внимания хотя бы потому, что они воспроизводятся во многих сообщениях из разных источников. К примеру, слуги практически единодушно приписывали неоспоримое верховенство в дурном влиянии затхлому и заплесневелому подвалу. Некоторые из них, в том числе Энн Уайт, никогда не пользовались подвальной кухней, и как минимум в трех сообщениях говорилось о причудливых, порой человеческих, порой inferнальных очертаниях, которые принимали корни деревьев и налеты плесени в том помещении. Эти сообщения вызвали у меня особый интерес в связи с тем явлением, которое я наблюдал собственными глазами, когда был ребенком, и все же меня не покидало ощущение, что самое главное в каждом из этих случаев было в значительной степени искажено дополнениями, заимствованными из местных легенд о привидениях. Энн Уайт, болезненно суеверная, как все выходцы из Эксетера, распространяла самую экстравагантную и в то же время самую убедительную версию, уверяя, что прямо под домом находится могила одного из тех вампиров — то есть мертвецов, сохранивших свою телесную оболочку и питающихся кровью или дыханием живых людей, — чьи богомерзкие легионы отправляются по ночам на кровавый промысел в виде телесных образов или призраков. Чтобы уничтожить вампира, как советуют старые люди, его следует откопать и сжечь у него сердце — или хотя бы всадить ему в сердце осиновый кол. В конечном счете



настойчивость, с которой Энн требовала проведения раскопок в подвале, и послужила решающей причиной ее увольнения.

Тем не менее ее байки имели широкую и благодарную аудиторию и принимались на веру тем охотнее, что дом действительно стоял на месте старого кладбища. Лично меня все эти рассказы интересовали постольку, поскольку они удивительно согласовывались с некоторыми другими фактами, а именно: словами заблаговременно уволившегося слуги по прозвищу Береженный Смит, жившего в страшном доме намного раньше Энн и не знавшего ее, который жаловался, будто по ночам нечто неведомое «высасывает из него дыхание»; свидетельствами о смерти четырех жертв лихорадки, выданными доктором Чедом Хопкинсом в 1804 году и констатировавшими у покойников необъяснимое малокровие; и, наконец, с обрывками бредовых причитаний несчастной Роби Гаррис, упоминавшей острые клыки какого-то бестелесного существа с тусклым взглядом.

Как бы ни был я свободен от глупых суеверий, сведения эти вызвали у меня странное ощущение, которое было усугублено парой газетных вырезок, касавшихся смертей в страшном доме и разделенных большим промежутком времени, — одной из «Провиденс газетт энд кантри джорнал» от 12 апреля 1815 года, а другой из «Дейли трэнскрипт энд кроникл» от 17 октября 1845 года. В обеих заметках описывался жуткий феномен, двукратное повторение которого, на мой взгляд, было симптоматичным. В том и другом случаях умирающий (в 1815 году пожилая дама по фамилии Стэнфорд, в 1845 году школьный учитель средних лет Элиейзер Дюрфи) претерпевал чудовищную трансформацию, а именно: его глаза становились будто стеклянными, и он пытался укусить за горло лечащего врача. Однако еще более загадочным был последний эпизод, положивший конец сдаче дома внаем: я имею в виду серию смертей от малокровия, каждой из которых предшествовало прогрессирующее умопомешательство, проявлявшееся в том, что больной коварно покушался на жизнь своих близких, пытаясь прокусить им шею или запястье.

Упомянутые смерти относятся к 1860–1861 годам, когда мой дядя только приступил к врачебной практике; он много слышал о них от своих старших коллег перед уходом на фронт. Поистине необъяснимым оставался тот факт, что жертвы — а это были невежественные представители низшего сословия, ибо сдать дурно пахнувший и имевший недобрую славу дом приличным людям было в то время невозможно, — выкрикивали проклятия по-французски, хотя ни один из них ни в коей мере не владел этим языком ранее. То же самое имело место за сто лет до этих смертей в случае несчастной Роби Гаррис, и данное совпадение настолько поразило моего дядюшку, что вскоре после возвращения с войны, выслушав рассказы очевидцев, докторов Чейза и Уитмарша, он начал собирать факты из истории страшного дома. Я не раз убеждался в том, что дядя действительно глубоко размышлял над этим предметом и что он был рад моему интересу к последнему — интересу непредвзятому и сочувственному, позволявшему ему обсуждать со мной такие материи, которые у любого другого не вызвали бы ничего, кроме смеха. Фантазия его не заходила так далеко, как моя, однако он осознавал, что этот дом исключителен по своей способности давать пищу для воображения и достоин внимания хотя бы как источник вдохновения в области гротескного и зловещего.

Я со своей стороны отнесся к предмету со всей серьезностью и сразу приступил не только к проверке показаний очевидцев, но и к сбору новых фактов, насколько это было в моих силах. Я не раз беседовал с престарелым Арчером Гаррисом, тогдашним владельцем дома, вплоть до его смерти в 1916 году, и получил от него и его сестры, ныне еще здравствующей незамужней Элис, авторитетное подтверждение всех семейных дат, собранных моим дядюшкой. Но когда я спрашивал у них, какое отношение мог иметь дом к Франции или ее языку, они признавались, что столь же искренне недоумевают по этому поводу, как и я. Арчер вообще ничего не знал, что же до мисс Гаррис, то она поведала мне лишь о некоем упоминании, которое слышал ее дед, Дьюти Гаррис, и которое могло пролить хоть какой-то свет на эту загадку. Старый морской волк, который на два года пережил своего павшего на поле брани сына Уэлкома, рассказывал ей, что его старая няня Мария Роббинс смутно догадывалась о чем-то таком, что придавало особый, жуткий смысл французскому бреду Роби Гаррис. Мария жила в страшном доме с 1769 года вплоть до переезда семьи в 1783 году и присутствовала при смерти Мерси Декстер. Как-то раз она обмолвилась в присутствии малолетнего Дьюти об одном неординарном обстоятельстве, сопровождавшем последние минуты Мерси, однако со временем он начисто забыл, что это было за обстоятельство, а уж его внучка и подавно не могла сказать ничего определенного. Она и ее брат не так живо интересовались домом, как сын Арчера Кэррингтон, нынешний владелец, с которым я беседовал после своего эксперимента.

Вытянув из Гаррисов всю информацию, какой они обладали, я приступил к изучению старых городских хроник с еще большим энтузиазмом, чем в свое время мой дядюшка. Я хотел иметь исчерпывающие сведения об участке, где стоял дом, начиная с его застройки в 1636 году, а еще лучше — с более древних времен, когда здесь жили индейцы наррагансеты. Прежде всего я установил, что участок некогда входил в состав длинной полосы земли, изначально пожалованной некоему Джону Трокмортону, — одной из многих подобных полос, начинавшихся от улицы Таун-стрит, что идет параллельно реке, и тянувшихся вверх через холм примерно на одной линии с нынешней Хоуп-стрит. Участок Трокмортон в дальнейшем неоднократно подвергался разделу, и я тщательно проследил судьбу того его отрезка, на котором позднее пролегла Бэк-стрит, она же Бенефит-стрит. Легенда гласила, что раньше там действительно располагалось семейное кладбище Трокмортонов, однако, изучив документы более досконально, я обнаружил, что все могилы давным-давно были перенесены на Северное кладбище, находящееся на Потакет-Уэст-роуд.

Неожиданно мне попало одно свидетельство — по редкостному везению, ибо оно отсутствовало в основном массиве документов и легко могло затеряться, — которое возбудило во мне живейший интерес, так как давало ключ к некоторым наиболее туманным аспектам всей истории. Это был договор об аренде от 1697 года, согласно которому земля переходила в пользование некоего Этьена Руле и его супруги. Наконец-то появился французский след, а вместе с ним и добавочный элемент ужаса, вызванного этим именем из самых отдаленных уголков моей памяти, где у меня хранилась вся информация о страшном доме, почерпнутая из обильного и разнородного чтения. Я принялся лихорадочно изучать бумаги о застройке местности, составленные еще до прокладки и частичного выпрямления Бэк-стрит в период между 1747 и 1758 годами, и

сразу нашел то, чего наполовину ждал, а именно: на том самом месте, где теперь находился заброшенный дом, сразу за тогдашним коттеджем с мансардой, Руле с женой в свое время разбили кладбище; в то же время я не обнаружил ни одного упоминания о переносе могил. Заканчивался документ весьма сумбурно, и я был вынужден обшарить библиотеки Шепли и Род-Айлендского исторического общества в поисках дверцы, которая бы отпиралась ключом с именем Этьена Руле. В конце концов мне удалось кое-что откопать, и хотя моя находка носила довольно неопределенный характер, она имела настолько чудовищный смысл, что я немедленно приступил к обследованию подвала заброшенного дома с особыми тщательностью и рвением.

Согласно официальной записи, Руле прибыли в наши края в 1696 году из Ист-Гринвича, спустившись вдоль западного побережья залива Наррагансет. Они были гугенотами из местечка Код в Анжу и столкнулись с немалым противодействием со стороны членов городской управы, прежде чем им разрешили поселиться в Провиденсе. Косые взгляды окружающих преследовали их еще в Ист-Гринвиче, куда они прибыли в 1686 году, после отмены Нантского эдикта; ходили слухи, будто эта неприязнь выходила за рамки обычных национальных предрассудков или споров из-за земли, вовлекавших многих французских переселенцев в такие раздоры с англичанами, которые не в силах был уладить сам губернатор Эндрос. Но, к счастью, их ревностный протестантизм — слишком ревностный, как утверждали злые языки, — и вопиющая нужда, в которой пребывали изгнанники, помогли им обрести приют в Провиденсе, и смуглолицый Этьен Руле, склонный не столько к земледелию, сколько к чтению непонятных книжек и черчению замысловатых схем, устроился складским клерком на верфь Пардона Тиллингаста в южном конце Таун-стрит. Но спустя годы — лет через сорок, уже после смерти старого Руле — случились какие-то беспорядки, и с тех пор об этих людях не было слышно ни слова.

Тем не менее в течение ста с лишним лет семью Руле часто вспоминали и обсуждали как незаурядное явление в спокойной, размеренной жизни новоанглийского приморского городка. Сын Этьена, Поль, — угрюмый тип, чье неадекватное поведение, вероятно, и спровоцировало те беспорядки, после которых семья бесследно исчезла, — вызывал особый интерес, и, хотя жители Провиденса никогда не разделяли панического страха своих пуританских соседей перед черной магией, с подачи старых кумушек в городе широко распространились рассказы о том, что, дескать, Руле-младший и произносил-то свои молитвы не в урочное время, и направлял-то их не по тому адресу. Вероятно, именно эти слухи легли в основу легенды, которую знала старуха Роббинс. Какое отношение они имели к французскому бреду Роби Гаррис и других обитателей страшного дома, можно было либо только гадать, либо выяснить посредством дальнейших изысканий. Меня интересовало, многие ли из тех, кто был в курсе местных легенд, осознавали ту дополнительную связь с ужасным, о существовании которой мне стало известно благодаря обильному чтению. Я имею в виду полный зловещего смысла эпизод, упоминаемый во французских анналах и связанный с неким *Жаком Руле из Кода*, приговоренным в 1598 году к костру за бесноватость, но впоследствии помилованным парижским парламентом и заключенным в сумасшедший дом. Он был задержан в лесу, весь в крови и клочьях мяса, вскоре после того, как пара волков задрала мальчугана. Одного из волков видели убегающим вприпрыжку. Чем не история для рассказов у камина, особенно с учетом имени и места действия, но я решил, что кумушки из

Провиденса в большинстве своем ее не знали. Если бы знали, то совпадение имен неминуемо повлекло бы за собой какие-нибудь радикальные, вызванные страхом действия. А может быть, именно этот слух, поначалу циркулировавший в ограниченных кругах, со временем привел к тем беспорядкам, кульминацией которых стало бесследное исчезновение семейства Руле?

Я стал все чаще наведываться в проклятое место, изучая нездоровую растительность в саду, осматривая стены здания и внимательно обследуя каждый дюйм земляного пола в подвале. Испросив разрешения у Кэррингтона Гарриса, я подобрал ключ к неиспользуемой двери, ведущей из подвала прямо на Бенефит-стрит, и теперь имел более близкий доступ к внешнему миру, нежели через неосвещенную лестницу, прихожую и парадное. В этом средоточии нездоровой атмосферы я обшаривал каждую пядь, заглядывал в каждый уголок в те долгие послеполуденные часы, когда солнечные лучи просачивались сквозь щели в затканной паутиной надземной двери, по ту сторону которой всего в паре шагов пролегла безопасная пешеходная дорожка. Но — увы! — старания мои не были вознаграждены новыми находками: кругом была все та же угнетающая затхлость, гнилостный запах и странные контуры на полу. Представляю, с каким любопытством разглядывали меня многочисленные прохожие через пустые оконные проемы!

Наконец, по совету дядюшки, я решил обследовать подвал в темное время суток и одной непогожей ночью, вооружившись карманным фонарем, еще раз тщательно осмотрел заплесневелый пол с видневшимися на нем непонятными контурами и пробивавшимися сквозь него причудливо искривленными, слабо фосфоресцирующими грибами. В ту ночь окружающая обстановка давила на меня почему-то сильнее, чем прежде, и я почти не удивился, когда увидел — если только мне не почудилось — очертания скрюченной фигуры, отчетливо выделявшиеся среди белесоватых наростов. Это была та самая фигура, о которой я помнил с детства. Она выглядела необыкновенно четко, и, не отрывая от нее глаз, я снова увидел слабое желтоватое мерцающее испарение, которое ужаснуло меня в дождливый день так много лет назад.

Эта едва различимая, нездоровая, испускавшая слабое свечение дымка поднималась над человекоподобным пятном плесени возле очага; клубясь и извиваясь в темноте, она непрерывно принимала различные неясные, но пугающие формы, постепенно истончаясь и улетучиваясь в черноту огромного дымохода и оставляя за собой характерный мерзкий запах. Все это было ужасно и в моем случае еще усугублялось всем, что мне было известно об этом месте. Дав себе слово не покидать своего поста, что бы ни случилось, я внимательно наблюдал за исчезновением дымки и, наблюдая, не мог отделаться от ощущения, что и она, в свою очередь, плотоядно следит за мной своими не столько видимыми, сколько воображаемыми зрачками. Когда я рассказал обо всем дяде, он пришел в сильное возбуждение и после часа напряженных раздумий принял радикальное решение. Взвесив в уме всю важность предмета и той миссии, которая на нас лежала, он настоял на том, чтобы мы оба подвергли испытанию, а при необходимости и уничтожению скверну этого дома путем совместного неусыпного ночного дежурства в затхлом и заклеяленном плесенью подвале.

В среду 25 июня 1919 года, с разрешения Кэррингтона Гарриса, которому мы, впрочем, не открыли своих истинных намерений, мы с дядей приволокли в заброшенный дом два складных стула, одну раскладушку и какой-то аппарат для лабораторных экспериментов, весьма сложный и громоздкий. Разместив эти предметы в подвале при свете дня, мы занавесили окна бумагой и покинули дом до вечера, когда было запланировано наше первое дежурство. Перед уходом мы заперли дверь, ведущую из подвала в первый этаж, и теперь, имея ключ от двери с прямым выходом на улицу, могли быть уверены, что наш высокочувствительный аппарат, добытый тайно и за большие деньги, будет оставаться в безопасности столько дней, сколько может нам потребоваться для ночных бдений. План на вечер был таков: до назначенного часа мы оба сидим не смыкая глаз, а затем начинаем дежурить в очередь по два часа каждый, сначала я, потом дядя, в то время как другой отдыхает на раскладушке.

Природная предприимчивость, с которой дядюшка раздобыл аппарат в лабораториях Университета Брауна и арсенала на Крэнстон-стрит, а также инстинктивно выбранное им направление наших поисков убедительно демонстрируют, какой запас жизненных сил и энергии сохранялся в этом восьмидесятилетнем джентльмене. Илайхью Уиппл строго соблюдал правила здорового образа жизни, которые пропагандировал как врач, и если бы в тот вечер ничего не случилось, он бы и по сей день пребывал в полном здравии. Только двое знают о случившемся — Кэррингтон Гаррис и ваш покорный слуга. Я не мог оставить его в неведении, так как дом принадлежал Гаррису и он имел право знать все. Кроме того, мы заранее уведомили его о своем эксперименте, и после того, что случилось с дядей, я знал, что Гаррис поймет меня и поможет мне дать необходимые публичные разъяснения. Выслушав мой рассказ, Гаррис стал блее мела, но согласился помочь и решил, что теперь можно без опаски пустить в дом жильцов.

Заявить, что в ту дождливую ночь дежурства мы не испытывали страха, было бы нелепым и глупым бахвальством. Как я уже говорил, мы были далеки от любых суеверий, однако в процессе ученых штудий и долгих размышлений мы пришли к тому, что известная нам трехмерная вселенная представляет собой лишь ничтожную часть целого космоса вещества и энергии. В данном случае огромное количество свидетельств из многочисленных достоверных источников объективно указывало на существование неких сил, обладающих невероятной мощью и в высшей степени враждебных человеку. Сказать, что мы серьезно верили в вампиров или, скажем, в оборотней, означало бы сделать слишком поверхностное заявление. Вернее было бы выразиться, что мы не отрицали возможность существования неких неизвестных науке и неописанных форм жизненной силы и разреженной материи; форм, крайне редко встречающихся в трехмерном пространстве ввиду своего более тесного родства с другими элементами пространства, но, тем не менее, находящихся в достаточной близости к нам, чтобы время от времени удивлять нас феноменами, которые мы, за отсутствием удобной позиции для наблюдения, вряд ли когда-нибудь сможем понять.

Одним словом, мы с дядей полагали, что множество неоспоримых фактов свидетельствует о некоем пагубном влиянии, гнездящемся в страшном доме, — влиянии, восходящем к кому-то из злополучных французских переселенцев двухвековой давности

и по-прежнему проявляющем себя через посредство редких и неизвестных науке законов движения атомов и электронов. На то, что члены семьи Руле находились в противоестественном контакте с внешними кругами бытия — кругами враждебными, внушающими нормальным людям лишь страх и отвращение, — достаточно красноречиво указывали письменные свидетельства. Не могло ли случиться так, что беспорядки, произошедшие в те далекие 1730-е годы, привели в движение некие кинетические структуры в болезненном мозгу одного или нескольких французов — хотя бы того же порочного Поля Руле, — в результате чего структуры эти пережили своих умерщвленных носителей и продолжали функционировать в многомерном пространстве вдоль исходных силовых линий, определенных неистовой злобой возмутившихся горожан?

В свете новейших научных гипотез, разработанных на основе теории относительности и внутриатомной активности, подобный феномен уже не может считаться невозможным ни с точки зрения физики, ни с точки зрения биохимии. Нетрудно вообразить некий чужеродный сгусток вещества или энергии, пусть бесформенный, пусть какой угодно, существование которого поддерживается неощутимым или нематериальным паразитированием на жизненной силе или телесной ткани и жидкости других, более живых организмов, в которые он проникает и с материей которых он иногда сливается. Сгусток этот может быть активно враждебным, а может и просто руководствоваться слепыми мотивами самосохранения. В любом случае такой монстр в рамках нашей системы вещей неизбежно представляет собой аномалию и незваного гостя, и истребление его является священным долгом каждого, кто не враг природе, здоровью и здравому смыслу.

Более всего нас смущало наше полное неведение относительно того, какую форму примет противник. Никто из находившихся в здравом уме ни разу не видел его, и лишь очень немногие более или менее ясно его ощущали. Это могла быть энергия в чистом виде — как бы некая эфирная форма, существующая вне мира вещества; а могло быть и нечто материальное, но лишь отчасти, — какая-нибудь неизвестная науке пластичная масса, способная произвольно видоизменяться, образуя расплывчатые подобию твердой, жидкой, газообразной или разреженной среды. Пятно плесени на полу, желтоватые испарения и извивы древесных корней, фигурирующие в ряде старинных легенд, — все они имели отдаленное сходство с человеческими очертаниями, однако нельзя было сказать ничего определенного о том, насколько показательным и постоянным могло быть это сходство.

Для уничтожения противника мы запаслись двумя видами оружия: большой трубкой Крукса специальной конструкции, работающей от двух мощных аккумуляторных батарей и оснащенной особыми экранами и отражателями на тот случай, если враг окажется нематериальным и ему можно будет противодействовать только посредством разрушительного эфирного излучения; и парой армейских огнеметов времен мировой войны — на случай, если враг окажется частично материальным и чувствительным к механическому воздействию, ибо, по примеру суеверных эксетерцев, мы готовы были испепелить сердце врага, если бы таковое у него оказалось. Все эти орудия агрессии мы разместили в подвале таким образом, чтобы до них легко было дотянуться с раскладушки и стульев и чтобы они были нацелены на то место перед камином, где

находилось пятно плесени, принимавшее различные странные очертания. Кстати, пресловутое пятно на этот раз было едва заметно — как днем, когда мы размещали мебель и механизмы, так и вечером, когда мы приступили непосредственно к дежурству, — и я даже на секунду усомнился, видел ли я его когда-нибудь вообще в более отчетливой форме, но потом вспомнил о легендах.

Мы заступили на дежурство в десять вечера и до поры до времени не замечали никаких перемен. При тусклом мерцании атакуемых ливнем уличных фонарей снаружи и еле заметном свечении омерзительной грибной поросли внутри мы различали источающие сырость каменные стены без малейшего следа известки; влажный, зловонный, подернутый плесенью земляной пол с его непотребными грибами; куски полусгнившей древесины, когда-то служившие скамейками, стульями, столами и прочей, теперь уже трудно сказать какой, мебелью; массивные доски и балки межэтажного перекрытия над головой; увечную дощатую дверь, ведущую в каморы и закрома, расположенные под другими частями дома; крошащуюся каменную лестницу со сломанными деревянными перилами и грубую, закопченную кирпичную кладку камина с какими-то ржавыми железяками внутри очага, намекавшими на наличие в прошлом крюков, подставок, вертелов и дверцы духовки. Помимо вышперечисленного мы также могли видеть принесенные с собой стулья, походную раскладушку и громоздкие мудреные орудия разрушения.

Как и в прежние свои визиты, мы оставили дверь на улицу незапертой — чтобы иметь прямой и удобный путь к отступлению на тот случай, если бы нам вдруг оказалось не под силу справиться с враждебным явлением. Мы полагали, что наши постоянные ночные бдения рано или поздно спровоцируют таящееся здесь зло на то, чтобы проявить себя, и что мы, заранее вооруженные всем необходимым, сможем расправиться с ним при помощи того или другого орудия, как только достаточно хорошо разглядим и поймем, с чем или кем имеем дело. Сколько времени может потребоваться на то, чтобы «разбудить» и истребить эту сущность или существо, мы не знали. Мы, конечно, понимали, что предприятие наше далеко не безопасно, ибо нельзя было заранее предугадать, насколько сильным окажется враг. И все же мы были уверены, что игра стоит свеч, и без колебаний решились пойти на риск в одиночку, понимая, что, обратившись за посторонней помощью, мы бы выставили себя на посмешище и, вероятно, только погубили бы все дело. Вот в таком настроении мы сидели и беседовали до позднего часа, пока мой дядюшка не стал клевать носом и мне не пришлось напомнить, что ему положено два часа сна.

Мое одинокое бдение в первые часы после полуночи сопровождалось чувством, похожим на страх, — я сказал «одинокое», ибо тот, кто бодрствует в присутствии спящего, одинок в большей степени, чем в любой другой ситуации; быть может, даже более одинок, чем сам это осознает. Дядя дышал тяжело и неровно, шум дождя на улице служил аккомпанементом его глубоким вдохам и выдохам, а в роли невидимого дирижера выступал доносившийся откуда-то издалека звук капающей воды — в этом доме было невыносимо сыро даже в сухую погоду, и такой ливень, как сегодня, мог просто превратить его в болото. При тусклом свете грибов и слабых лучей, украдкой просачивавшихся с улицы сквозь занавешенные окна, я рассматривал старую, неплотную кирпичную кладку стен. Один раз, почувствовав, что задыхаюсь в спертой

атмосфере, я приоткрыл дверь и некоторое время глядел то в один, то в другой конец улицы, теща взор знакомыми видами и вдыхая полной грудью нормальный, здоровый воздух. До сих пор не случилось ничего такого, что могло бы вознаградить меня за мое бдение, и я непрерывно зевал, испытывая теперь уже не страх, а только усталость.

Внезапно мое внимание было привлечено звуками, доносившимися со стороны дяди. В течение второй половины первого часа из двух, отведенных ему на сон, он несколько раз беспокойно повернулся с боку на бок; теперь же он начал как-то странно дышать — неравномерно и со вздохами, скорее напоминающими хрипы задыхающегося человека. Посветив на него фонарем и увидев, что он лежит ко мне спиной, я обогнул раскладушку и снова включил фонарь, чтобы проверить, не стало ли ему плохо. И хотя я не увидел ничего особенного, мне стало не по себе — вероятно, оттого, что замеченное мною странное обстоятельство связалось в моем сознании со зловещим характером наших местонахождения и цели, поскольку само по себе оно не было ни пугающим, ни тем более сверхъестественным. А заключалось оно всего-навсего в том, что выражение лица дяди — вероятно, под влиянием каких-то нелепых сновидений, спровоцированных ситуацией, — выдавало сильнейшее внутреннее возбуждение, совершенно для него нехарактерное. Обычно его лицо дышало уверенностью и спокойствием, свойственными всем благородным джентльменам, в то время как теперь на нем отражалась борьба самых разнообразных чувств. Полагаю, что именно это *разнообразие* и встревожило меня более всего. Дядя, который то хватал воздух ртом, то переворачивался с боку на бок, теперь уже с широко открытыми глазами, представлялся мне не одним, но многими людьми одновременно; он словно перестал быть самим собой.

Потом он принялся бормотать, и меня неприятно поразил вид его рта и зубов. Поначалу слова звучали неразборчиво, но потом — переход был ужасающе резким — я расслышал нечто такое, что сковало меня ледяным страхом, оставившим меня лишь после того, как я вспомнил о широте эрудиции дядюшки и о тех бесконечных часах, которые он просиживал над переводами статей по антропологии и древностям из «Revue des deux mondes». Да! — почтенный Илайхью Уиппл бормотал на французском языке, и те немногие фразы, которые мне удалось разобрать, могли быть выдержками из самых жутких мифов, которые ему когда-либо случалось переводить из вышеназванного парижского журнала.

Неожиданно на лбу спящего выступил пот, и он резко подскочил, наполовину проснувшись. Нечленораздельная французская речь сменилась нормальной английской, и дядя принялся хрипло восклицать: «Мое дыхание, мое дыхание!» Потом, когда он окончательно проснулся и на его лицо вернулось привычное спокойное выражение, дядя схватил меня за руку и поведал мне содержание своего сна, о реальной подоплеке которого я мог только строить самые страшные догадки.

По его рассказу, все началось с цепочки довольно заурядных образов, исподволь выросших в видение столь странное, что его невозможно было соотнести ни с чем из когда-либо им прочитанного. Видение это было одновременно и от мира, и не от мира сего — какая-то геометрическая неразбериха, где детали знакомых вещей выступали в самых невообразимых комбинациях. Разрозненные образы накладывались один на другой, элементы пространства и времени как бы рассыпались, а затем соединялись друг



с другом без всякой логики. В этом калейдоскопе фантазмагорических образов порой появлялись своего рода моментальные снимки, если можно воспользоваться этим термином; снимки исключительно четкие, но в то же время совершенно сумбурные.

Был момент, когда дяде представилось, будто он лежит в открытой свежевырытой яме, а сверху на него с ненавистью взирают какие-то люди в треугольных шляпах, с мрачными лицами в обрамлении длинных прядей волос. Потом он очутился во внутренних покоях незнакомого дома — по всем признакам, очень старого, — но детали интерьера и жильцы непрерывно менялись, и он никак не мог запомнить лиц, мебели и даже самого помещения, ибо двери и окна, похоже, пребывали в состоянии столь же непрерывного изменения. Самым странным в рассказе дяди, странным до нелепости (недаром он рассказывал об этом очень неуверенно, словно боялся, что ему не поверят), было то, что якобы многие лица несли черты фамильного сходства с Гаррисами. Все это время дядюшкин сон сопровождался ощущением удушья, как будто нечто неосязаемое и невидимое распростерлось на его теле и пыталось овладеть его жизненными процессами. Я вздрогнул при мысли о тех усилиях, какие пришлось приложить этому организму, порядком изношенному за восемьдесят с лишним лет, чтобы противодействовать неведомым силам, представляющим серьезную опасность даже для самого молодого и крепкого тела. Но уже в следующую минуту я успокоил себя тем, что это был всего лишь сон и что все эти неприятные видения были не более чем реакцией сознания моего дяди на те исследования и предположения, которыми в последнее время были заполнены наши с ним умы, вытеснив все остальное.

Беседа с дядюшкой отвлекла меня и развеяла ощущение странности; не в силах сопротивляться дремоте, я воспользовался своим правом на сон. Дядя к этому времени окончательно взбодрился и охотно приступил к дежурству, несмотря на то что кошмар разбудил его задолго до истечения его законных двух часов. Я мгновенно забылся сном, и вскоре меня атаковали видения самого беспокойного свойства. Меня охватило чувство безбрежного, космического одиночества; враждебные силы сходились со всех сторон и бились в стены узилища, где я лежал, связанный по рукам и ногам и с кляпом во рту. Глумливые вопли миллионов глоток, жаждущих моей крови, доносились до меня издали, переключаясь эхом. Моему взору предстало лицо дяди, вызвавшее у меня столь жуткие ассоциации, что я несколько раз силился закричать, но не смог. Одним словом, приятного отдыха у меня не вышло, и в первую секунду я даже обрадовался разбудившему меня пронзительному, эхом отдающемуся крику, который проложил себе путь сквозь барьеры сновидений и разом вернул меня в состояние бодрствования. Пробуждение было настолько внезапным и резким, что все окружавшие меня предметы обстановки предстали мне с более чем естественными отчетливостью и натуральностью.

## 5

Я лежал спиной к дяде, так что в первое мгновение увидел только дверь на улицу, окно, расположенное ближе к северу, а также стены, пол и потолок в северной части комнаты; все это запечатлелось в моем мозгу с ужасающей четкостью благодаря свету более яркому, нежели блеск грибов или мерцание уличных фонарей. Нельзя сказать, что этот свет был сильным — его не хватило бы, скажем, для чтения книги, но все же его было достаточно, чтобы от меня падала тень. Кроме того, он обладал неким — иначе не

скажешь — желтоватым проникающим качеством, которое заставляло предполагать в нем нечто большее, нежели просто свет. Я воспринимал это качество поразительно отчетливо, несмотря на то что еще два моих чувства подвергались самой яростной атаке — в ушах моих продолжали звенеть отзвуки ужасающего вопля, а ноздри мои страдали от зловония, заполнявшего собой все помещение. Осознав, что происходит нечто необычайное, я почти автоматически вскочил и повернулся к орудиям уничтожения, которые мы оставили нацеленными на пятно плесени перед очагом. Поворачиваясь, я заранее боялся того, что мне, возможно, придется увидеть, ибо разбудивший меня крик явно принадлежал моему дяде, а я еще не знал, от какой опасности надо себя и его защищать.

Но то, что я увидел, превзошло худшие из моих страхов. Существуют ужасы ужасов, и это была одна из тех квинтэссенций всего доступного воображению кошмара, которые космос приберегает для наказания самых проклятых и несчастных. Над оккупированной грибами почвой поднималось парообразное свечение, желтое и болезненное; оно пузырилось и плескалось, образуя гигантскую фигуру с расплывчатыми очертаниями получеловека-полузверя, через которую я различал дымоход и очаг. Фигура словно глядела на меня плотоядным и дразнящим взглядом, а ее складчатая, как у насекомого, голова вверху истончалась в струйку, которая зловонно вилась и клубилась и в конце концов исчезала в недрах дымохода. И хотя я все это видел собственными глазами, лишь намного позже, напряженно припоминая, я сумел более или менее четко воссоздать дьявольские очертания фигуры. Тогда же она была для меня не более чем бурлящим и фосфоресцирующим облаком вонючего пара, которое обволакивало и размягчало до состояния омерзительной пластичности некий объект, находившийся в центре моего внимания. Объект этот был не чем иным, как моим дядей, почтенным Илайхью Уипплом. Черты его лица чернели и постепенно сходили на нет, в то время как сам он скалился, невнятно бормоча, и протягивал ко мне свои когтистые разлагающиеся лапы, чтобы разорвать меня на части в дикой злобе, порожденной присутствующим ужасом.

От безумия меня спасли только выработанные рефлексы. Загодя готовясь к критическому моменту, я многократно проделал все нужные операции, и эта выучка оказалась кстати. Понимая, что бурлящее передо мною зло не является субстанцией, на которую может подействовать огонь или химическое вещество, и потому проигнорировав огнемет, маячивший по правую руку от меня, я включил аппарат с трубкой Крукса и навел на развернувшуюся передо мной богомерзкую сцену сильнейшее излучение, исторгнутое искусством человека из недр и токов естества. Появилась синеватая дымка, раздались оглушительные шипение и треск, и желтоватое свечение как будто стало тускнеть, но уже в следующее мгновение я убедился в том, что потускнение это кажущееся и что излучение аппарата не произвело абсолютно никакого эффекта.

Потом, в самый разгар этого демонического зрелища, на меня накатил новая волна ужаса, исторгшая вопль из моих уст и заставившая меня броситься, шарахаясь и спотыкаясь, по направлению к незапертой двери на тихую и безопасную улицу; броситься, не думая о том, какой кошмар я выпускаю на свет и уж тем более о том, какие суждения и вердикты ближних я навлекаю на свою голову. Случилось же следующее: в той мутной смеси желтого и синего облик моего дяди претерпел некое отвратительное

разжижение, характер которого не поддается никакому описанию; достаточно сказать, что по ходу этого процесса на исчезающем лице дядюшки происходила такая сумасшедшая смена идентичностей, какую мог бы вообразить только безнадежный лунатик. Он был одновременно демоном и толпой, склепом и карнавальным шествием. Освещенное колеблющимися неоднородными лучами, его желеобразное лицо приобретало десятки, сотни, тысячи образов; злорадно скалясь, оно оплывало вместе с телом на пол, словно тающий воск, и принимало на себя многочисленные личины, имевшие карикатурное сходство с исчадиями ада.

Я видел фамильные черты Гаррисов, мужские и женские, взрослые и детские, и черты многих других людей, старческие и юношеские, грубые и утонченные, знакомые и незнакомые. На мгновение мелькнула скверная подделка под миниатюру с изображением несчастной Роби Гаррис, которую мне доводилось лицезреть в музее художественной школы, а в другой раз мне померещился худощавый облик Мерси Декстер, каким я его помнил по портрету в доме Кэррингтона Гарриса. Все это было чудовищно сверх всякой меры, а ближе к концу, когда уже почти над самым полом с образующейся на нем лужицей зеленоватой слизи замелькала курьезная мешанина из лиц прислуги и младенцев, мне стало казаться, что видоизменяющиеся черты боролись между собой и пытались сложиться в облик, напоминающий добродушную физиономию моего дяди. Я тешу себя мыслью, что тогда еще он существовал и пытался попрощаться со мной. Мне помнится также, что и я, выбираясь на улицу, пролепетал запекшимися губами слова прощания, и едкая струйка пара проследовала за мной в открытую дверь на орошаемый ливнем тротуар.

Остальное помню смутно и с содроганием. Не только на умытой дождем улице, но и в целом мире не было ни единой души, которой бы я осмелился поведать о случившемся. Без всякой цели я брел на юг и, миновав Университетскую горку и библиотеку, спустился вниз по Хопкинс-стрит, перешел через мост и очутился в деловом квартале города с его высотными зданиями, которые как будто защищали меня, как все материальные продукты современной цивилизации защищают мир от нездоровых чудес старины. Сырая блеклая заря занялась на востоке, и допотопный холм с его архаичными крышами вырисовался на ее фоне, словно призывая меня завершить мое скорбное дело. И я направился туда, промокший до нитки, без шляпы, оторопев от утреннего света. Я вошел в страшную дверь на Бенефит-стрит, оставленную мной распахнутой настежь и по-прежнему болтавшейся на петлях на виду у рано пробудившихся соседей, с которыми я не осмелился заговорить.

Вся слизь ушла в поры земляного пола. От гигантской скрюченной формы перед очагом не осталось ни следа. Я оглядел раскладушку, стулья, оборудование, свой забытый головной убор и желтую соломенную шляпу дяди. Я находился в каком-то ступоре и мучительно пытался вспомнить, что было сном и что реальностью. Постепенно ко мне вернулась ясность мысли, и теперь я твердо знал, что наяву стал свидетелем вещей гораздо более ужасных, чем те, что могут привидеться во сне. Опустившись на стул, я попытался осмыслить происшедшее, насколько я мог это сделать в своем тогдашнем состоянии, и найти способ уничтожить ужас, если, конечно, он был реальным. Он явно не был ни материей, ни эфиром, ни какой-либо другой умопостигаемой сущностью. Тогда чем же еще он мог быть, как не какой-то диковинной эманацией, какими-то

вампирическими парами вроде тех, что, по рассказам эксетерских жителей, витают над иными кладбищами? Найдя, как мне показалось, ключ к разгадке, я снова принялся разглядывать тот участок пола перед очагом, где плесень и селитра принимали всевозможные необычные формы. Через десять минут в голове моей созрело решение, и, прихватив с собой шляпу, я ринулся домой. Там я принял ванну, плотно закусил и заказал по телефону кирку, мотыгу, лопату, армейский противогаз и шесть бутылей серной кислоты с распоряжением доставить все это утром следующего дня к двери в подвал заброшенного дома по Бенефит-стрит. Потом я попытался заснуть, но не смог и провел оставшиеся часы за чтением и сочинением глупых стишков, пытаясь отвлечься от мрачных мыслей.

На следующее утро в одиннадцать часов я приступил к раскопкам. Погода стояла солнечная, чему я был несказанно рад. Я был по-прежнему один, ибо при всем моем страхе перед тем неведомым, что я искал, открыться кому-нибудь постороннему казалось мне еще страшнее. Позднее я рассказал обо всем Гаррису, но сделал это исключительно из необходимости и еще потому, что он сам слышал разные невероятные истории о заброшенном доме, которые, впрочем, отнюдь не расположили его к вере в нечистую силу. Ворочая комья черной зловонной земли, рассекая лопатой на части белесую грибковую поросль, из которой тут же начинал сочиться желтоватый вязкий гной, я трепетал от нетерпения и гадал, что увижу я там, в глубине. Недра земные хранят тайны, которых человеку лучше не знать, и меня, похоже, ждала одна из них.

Мои руки ощутимо тряслись, но я упорно продолжал копать и вскоре уже стоял в довольно широкой яме. По мере углубления ямы, ширина которой составляла примерно два метра, тяжелый запах усиливался, и я уже не сомневался в том, что меня ждет встреча с исчадием ада, эманации которого были бичом этого дома в течение полутора с лишним веков. Мне не терпелось узнать, как оно выглядит, какую имеет форму, из какого вещества состоит и до каких размеров выросло за долгие века потребления человеческой жизненной силы. Чувствуя, что дело близится к развязке, я вылез из ямы, разбросал накопившуюся кучу земли по сторонам и разместил по краям ямы с двух сторон от себя огромные бутылки с кислотой с тем расчетом, чтобы в случае необходимости их можно было быстро опорожнить одну за другой в образовавшуюся скважину. В дальнейшем я уже сваливал землю только по обе другие стороны ямы; работа пошла медленнее, а вонь усилилась настолько, что мне пришлось надеть противогаз. Сознывая близость неведомого, таившегося у меня под ногами, я с трудом сохранял присутствие духа.

Внезапно моя лопата коснулась чего-то менее твердого, чем земля. Я резко вздрогнул и сделал было первое движение к тому, чтобы выкарабкаться из ямы, края которой уже доходили мне до самого горла. Но я преодолел свой страх и, стиснув зубы, выгреб еще немного земли при свете карманного фонаря. Показалась какая-то поверхность, тусклая и гладкая, что-то вроде полутухлого студня с намеком на прозрачность. Продолжая скрести, я увидел, что «студень» имеет форму. В одном месте была щель, где часть обнаруженной мной субстанции образовывала складку. Обнажившаяся область имела почти цилиндрическую форму, напоминая гигантскую бело-голубую трубу синеватого цвета, перегнутую пополам, и в самом широком месте достигая более полуметра в диаметре. Еще несколько скребков — и я пулей вылетел из ямы, чтобы как можно дальше находиться от этой мерзости; в каком-то исступлении я накренил тяжелые бутылки одну

за другой и низвергал их едкое содержимое в зияющую бездну, на ту невообразимую аномалию, чей колоссальный локоть мне довелось лицезреть.

Слепящий фонтан зеленовато-желтого пара, вырывавшийся из глубины, куда потоком лилась кислота, никогда не изгладится из моей памяти. По сию пору обитатели холма рассказывают о «желтом дне», когда отвратительные тлетворные пары поднимались над рекой Провиденс в месте сброса фабричных отходов, и только один я знаю, как они обманываются относительно истинного источника этих паров. Рассказывают также о чудовищном реве, сопровождавшем этот выброс и доносившемся, по всей видимости, из какой-то поврежденной водопроводной трубы или подземного газопровода, но и здесь я придерживаюсь иного взгляда, нежели молва, хотя и не осмеливаюсь высказать его вслух. У меня нет слов, чтобы описать весь этот ужас, и я до сих пор не могу понять, каким чудом остался жив. Я лишился чувств сразу после того, как опустошил четвертую емкость, которой был вынужден воспользоваться, когда испарения стали проникать через мою газовую маску. Очнувшись, я увидел, что пар исчез.

Две оставшиеся бутылки я опорожнил без всякого видимого результата и через некоторое время пришел к выводу, что яму можно снова засыпать землей. Я трудился не покладая рук до глубокой ночи, зато ужас покинул дом навсегда. В подвале было уже не так сыро и затхло, а все диковинные грибы высохли и превратились в безобидный грязновато-серый порошок, разметавшийся по полу, как пепел. Один из худших ужасов земли сгинул навеки, и если существует ад, то в тот день он наконец-то принял в свое лоно демоническую душу богомерзкого существа. Разровняв последнюю порцию земли, упавшую с моей лопаты, я пролил первую из многих непритворных слез в дань памяти своего горячо любимого дяди.

С приходом весны в саду на бугре, где стоит страшный дом, не взошли ни блеклая трава, ни диковинные сорняки, и через некоторое время Кэррингтон Гаррис сдал участок и дом в аренду. Это место по-прежнему овеяно для меня тайной, но эта таинственность меня пленяет, и нынешнее чувство облегчения неизбежно смешается с горечью сожаления, когда дом снесут, а вместо него воздвигнут какой-нибудь модный магазин или многоквартирную пошлость. Старые голые деревья в саду начали приносить маленькие сладкие яблоки, и в прошлом году птицы впервые свили себе гнезда среди их причудливо изогнутых ветвей.

*Перевод: Олег Мичковский*

*1992 год*